Чаадаев на басманой

Category: Goşgular,Kitapcy
написано kitapcy | 24 января, 2025
Чаадаев на басманой ЧААДАЕВ НА БАСМАННОЙ

Как червь, разрезанный на части,
ползет – един – по всем углам,
так я под лемехами власти
влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,
в кругах ли просвещенных дам
влачусь – где наша не бывала!
А между тем – ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,
как будто вправду жизнь моя
загадка Януса – идея
раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой
я так невольно дорожу,
тогда как самому – ни йотой –
себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиренье
я мерюсь будущей судьбой,
тогда как сам я – в раздвоенье –
и не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?
Гляжу в упор – и злость берет:
ползет, как фарш из мясорубки,
по тесной улице народ.

Влачит свое долготерпенье
к иным каким-то временам.
А в лицах столько озлобленья,

что лучше не встречаться нам.

* * *

По гиблому насту, по талой звезде
найдешь меня там, где не будет нигде.

Есть дальняя пристань, последний приют,
где скорби не знают и мертвых не чтут.

Кто был для единого слова рожден,
пусть ветром и пеплом развеян, но он

как кочет туда безголовый взлетел,
а это, скажу вам, не худший удел.

* * *

Южной ночью, один на пустом перроне,
я поезд последний жду, а его все нет,
и светляки над путями свадебным роем
вспыхивают и гаснут. Тьмы светляков.

Вспыхивают и гаснут. Запахи роз и хлорки,
свары какой-то хронической рядом, но мрак
фосфоресцирует, брызжет, и прах летучий,
кажется, самый воздух готов поджечь.

И когда прожектор, вынырнув из потемок,
побежал по путям и заскрежетал состав
с погашенными огнями, с побитыми окнами,
эти кавказские счеты, черт их поймет;

и когда, покидав чемоданы, я чудом впрыгнул
в дернувшийся вагон и взглянул назад,
все, что теменью было: пальмы, вокзал и море, —
все горело, брачным пульсировало огнем.

Что же все это: родина-мачеха — дом на сваях —
мамалыга с сыром — падающий зиккурат

с изваянием идола – дальше – гремящий хаос –
дальше! дальше! – пороховые зарницы в окне?..

Кто уехал, тот и останется – знает каждый,
кто лечил ностальгией растраву душевных ран.
Я не из этой страны, а из этого века,
как сказал мне в Париже старый зек Сеземан.

Мне теперь не светят ни светляки, ни звезды,
ничего мне не светит, в подушку тщета стучит.
А под утро вижу искрящий желаньем воздух
еще не стреляют и муза моя не молчит

* * *

Без хозяина сад заглох,
кутал розу – стоит крапива,
в вику выродился горох,
и гуляет чертополох
там, где вишня росла и слива.

А за свалкою у леска
из возгонок перегорелых
наркоты и змеевика
граммофончик звенит вьюнка
в инфернальных уже пределах.

Страшно мал, но велик зело,
ибо в царстве теней пригрелся,
пожирающий знак зеро.
Вот и думай, мутант прогресса,
что же будет после всего,
после сныти, болота, леса…

После лирики. После эпоса…

* * *

Под тутовым деревом в горном саду,
в каком-то семействе, в каком-то году,

с кувшином вина посреди простыни,
с подручной закуской — лишь ветку тряхни,

с мыслишкой, подкинутой нам тамадой,
что будем мы рядом и там, за грядой,

Амо и Арсений, Хухути и я,
и это не пир, а скорей лития.

Как странно, однако, из давности лет
увидеть: мы живы, а нас уже нет.

Мы рядом, мы живы, и я под тутой
еще и не старый, еще молодой.

Закатная мгла освежила траву.
Цикада окликнула Саят-Нову.

Из давности, из наваждения лет
кузнечик откликнулся ей вардапет.

Вот! роды прейдут, и державы сгорят,
и сад промысловый пожрет шелкопряд,

и речь пересохнет, но из году в год
цикада семнадцатилетняя ткет,

а рядом сверчок, безъязыкий толмач,
смычком высекает свой варварский плач.

Деместикус, дектикус, коноцефал,
да кто бы им имя какое ни дал,

личины меняя, он тот же, что был,
Амо и Арсений под сению крыл,

словесная моль, дегустатор октав,
скажи: каннибал — и не будешь не прав.

Напарники литературных декад,
здесь самое место нам, в цехе цикад.

А что же в остатке? сухая картечь,
лишь воздухом запечатленная речь…

Я вижу, как мы под тутою лежим,
как живо темнеет, как сякнет кувшин,

но миг или век – все равно дефицит,
как жизнь промелькнула, и смерть пролетит.

* * *

Вот Иона-пророк, заключенный во чрево кита,
там увериться мог, что не все темнота-теснота.

В сердце моря, в худой субмарине, где терпел он, как зэк,
был с ним Тот, Кто и ветер воздвиг, и на сушу изверг.

И когда изнеможил, когда в скорби отчаялся он,
к Богу Сил возопил он и был по молитве спасен.

По молитве дается строптивость ума обороть:
Встань, иди в Ниневию и делай, что скажет Господь.

Ах, и я был строптивым, а теперь онемел и оглох,
и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог.

Не пророк и не стоик я, не экзистенциалист,
на ветру трансцендентном бренчу я, как выжженный лист,

ибо трачен и обременен расточительством лет,
я властей опасаюсь, я микроба боюсь и газет,

где сливные бачки и подбитые в гурт думаки,
отличить не могущие левой от правой руки,

как фекальи обстали и скверною суслят уста.
Врешь, твержу про себя я, не все темнота-теснота…

. . . . . .

Вырывающаяся из рук, жилы рвущая снасть

кой-то век не дает кораблю в порт приписки попасть.

На кого и пенять косолапым волкам, как не на
пассажира уснувшего, под которым трещит глубина.

Растолкать? Бросить за борт? Покаяться? Буря крепка,
берег тверд, и за кормчим невидимая рука.

Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас,
еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз.

Так что плыть нам и плыть, дни и луны мотая на ось,
на еврейский кадиш уповать и на русский авось.

* * *

Эти тюркские пристани-имена Агидель, Изикюль, Дюртюли,
рядом бывшее ваше имение где-то за угорами, под Сарапулом,
разве можно забыть? Агидель, Дюртюли, раза три про себя повтори,
Изикюль — и бюль-бюль запоет, засвистит, душу всю исцарапает.

И само наше странствие на теплоходе по Каме, Белой, по Чусовой,
то ли позднее свадебное путешествие, то ли прощание
с этим раем поверженным, над которым недавно парил часовой,
а теперь только обморок территории, словно взяли вместе с вещами ее

и со всем наличным составом, включая плеши вырубок и персонал,
да желонки как маятники на холмах нефтяные, а ниже — мережи и
топляки в песке, да на курьих ножках стожки, а потом — провал:
то ли Чертово Городище с Елабугой, то ли Челны Бережные.

Где-то здесь Цветаева задохнулась и письма слал Пастернак
с просьбой отправить его на фронт, и дроздами не мог не заслушаться,
всю-то рябину ему исклевали, поди, не знаю, так ли, не так,
дело не выгорело, слава Богу, ибо пуля, она не жужелица.

А закат, что закат? и в проточной воде он как кровь багров,
а виденья безлюдности и потом едят поедом они,
как в зеленых плавнях, к примеру, сомы сосали коров,
запрудивших вечернюю реку выменами недойными.

А до Флора и Лавра всего-то рукой подать, и уже
ко вторым осенинам сбиваются в стаи ласточки,
то-то кружат они кругами, и в воздушном их чертеже
больше навыка, чем азарта, с которым гоняют в салочки.

Вот и мы, ты и я, мы не знаем по счастью своих путей,
но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания,
зная в точности, как на смену Рыбам движется Водолей,
так и сроки нашего пребывания здесьи конечного расставания.

* * *

И не то чтобы тайна сия велика
или светит мне путь роковой,
только я истекаю тщетой как река
из последних своих рукавов.

Зря в царицынских плавнях речной корабел
вахтенный будет шарить журнал.
Ты прими меня, море, в свою колыбель,
где и буй ни один не живал.

Вниз и вниз, мимо всех браконьерских сетей
и застав, я кончаюсь туда,
где осетр тяжелеет в себе сам-третей
и как кровь солонеет вода.

* * *

— Кыё! Кыё!

По колена стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку.
Возле моста, напротив трубы, извергающей пену
и мыльную воду бань, напротив заброшенного погоста
и еще не взорванной церкви на том берегу

он стоит в воде и мочится в реку,
не понимая как будто и сам, как сюда забрел,
а по лицу блуждает улыбка то ли блаженства,
то ли безумия; кончив нужду, он там и стоит,
где скот обычно вброд переходит реку,
стоит, не оправляя штанов, уставясь в поток,
онучи набрякли паводковой водою,
и он не знает, что делать дальше, так и стоит,
держась двумя за свою тележку, и что-то бормочет,
что-то мычит, но одно лишь слышно: — Кыё! Кыё!

Что это? причет? или проклятья?

Каждой весною
по мостовой железный грохочет гром.
— Это Кыё-Кыё, — в пустоту кивают, —
выкатил тачку свою, — и под лай собак
он возникает в серой казенной шапке,
в красных галошах собственной выклейки — вот,
вот он проходит, лязгая, громыхая,
чуждый всему и всем, и старухи вслед
крестятся скорбно как на Илью Пророка,
а мужики ворчат: — Проходи, проходи, дурак,
или в Андреево хочешь? — и, дернув тачку,
он исчезает в слепящем сумраке дня
так же внезапно, как и пришел, лишь рокот
ходит с собачьим брехом то тут, то там,
следуя по пятам…
Зачем человек явился?
Зачем как судьбу толкает два колеса,
и в праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит,
и радуется не к месту: я видел сам,
как он с оркестром рядом шел похоронным
и, обнажая десны, беззубым ртом
весь ликовал, смеялся беззвучным смехом,
вот, мол, кыё, смотрите, кыё-кыё —
что с него взять! Пришел незнамо откуда,

и неизвестно, где сгинет.

— Не отдавай,
не отдавай меня в Андреево, — говорила
мать моя перед смертью, а у самой
были такие глаза…

Недавно случаем
я проезжал это место. Одноэтажный дом
старой постройки, без царя перестроенный,
в поле на выселках, можно сказать, барак,
но с мезонином, и на крыльце сидели
люди, все в чем-то сером, стайка людей,
не говоря меж собой, нахохлясь как птицы,
выбившиеся из сил, упав с облаков
на полевое суденышко… но не это
странным мне показалось, не дом-приют
и не его обитатели, а то, что сам я,
кажется, был там, знаю его изнутри
до половиц, до черных латунных ручек,
вскриков и запахов хлорки, урины и
сквозняков, гуляющих коридором,
хлопающих дверьми: — Проходи, проходи…
О, то не гром расходится мостовыми,
это Кыё-Кыё в небесах летит
на оглушительной тачке своей, и слабый, белый
тянется инверсионный след за ним,
медленно растекаясь и багровея
знаками тайн…

Что он хотел сказать,
думаю я, просыпаясь, и на рассвете
через полвека, путая сон и явь,
всматриваюсь и вижу стоящего человека
в мутной воде и вопрошающего опять:
что? кого? — но нет у пустоты ответа,
нет и всё! Ах ты катанье наше, мытье,
никуда от вас — Иордан, Флегетон и Лета

или Вохна у ног… не знаю… Кыё. Кыё.

* * *

Ночью проснется и в стену глядит.
Дышит — не дышит. Как мертвый лежит.

Каплет на кухне. На улице льет.
Слышит — не слышит. День-ночь напролет.

Лет перекачка. Утечка минут.
Стерлась резьба? Или нервы сдают?

Слесаря вызвать. Врача пригласить.
Кран замотать. Анальгин проглотить.

Господи, сколько же можно терпеть?!
Думать — не думать? В обои глядеть?

Сколько взбешенным скрипеть лежаком?
С кем препираться? И помнить о ком?

Кто докопается? Врубель какой?
Камень на сердце? Перо под щекой?

Жизнь ли виной? Или сам виноват?
Только глаза жутковато блестят…

* * *

Я из темной провинции странник,
из холопского званья перехожий.
И куда мне, хожалому, податься?
А куда глаза глядят, восвояси.

Я хлебнул этой жизни непутевой,
отравил душу пойлом непотребным,
и давно бы махнул на все рукою,
каб не стыд перед Материю Божией.

Вот бреду, а Она-то все видит,

спотыкаюсь, а Она-то все знает,
и веревочке куда бы ни виться,
все кабак мне выходит да кутузка.

Ах, не этой земли я окаянной,
не из этой юдоли басурманской,
а из той я стороны палестинской,
из нечаемой страны херувимской.

Я худой был на земле богомолец,
скоморошьих перезвон колоколец
больше звонов я любил колокольных,
не молитвы сотворял, а погудки.

Есть на белой горе белый город,
окруженный раскаленными песками.
Есть в том городе храм золотоглавый,
а внутри прохладная пещера.

Я пойду туда, неслух, повиниться,
перед храмом в пыль-песок повалиться,
перед храмом, перед самым порогом:
не суди меня, Господь, судом строгим,

а суди, Господь, судом милосердым,
как разбойника прости и помилуй,
и порог я перейду Твово храма
и поставлю две свечи у пещеры.

* * *

Две старых сосны обнялись и скрипят,
вот-вот упадут.
И дождь их стегает, и гнет снегопад,
но жить — это труд.

Лесбийские сестры, почти без ветвей,
жилички высот.
Одна упадет и другая за ней,

но твердь не дает.

Я ночью не сплю, и они меж собой
о чем-то не спят.
Проснусь, а они уже наперебой —
ну как? — говорят.

Щади их, ненастье, храни их в жару
и стужу, Творец.
О, скоро и я напрямик разберу
их речь наконец.

* * *

А березова кукушечка зимой не куковат.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего, опричь молитвы, и не помню, окромя:
Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.

В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.
Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки,
все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,
потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,
потому что с самолета пересел на самокат,
молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,
а березова кукушечка зимой не куковат.

По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла
жизнь какая-никакая, и мать-мачеха цвела,
где чинили палисадник, где копали огород,
а киномеханик Гулин на бегу решал кроссворд,
а наставник музыкальный Тадэ, слывший силачом,
нес футляр, но не с баяном, как всегда, а с кирпичом,
и отнюдь не ради тела, а живого духа для,
чтоб дрожала атмосфера в опусе «Полет шмеля».

Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут.
Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут,

и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час…
Мати Божия, Заступнице, в скорбех помилуй нас.

* * *

Актинидия коломикта так оплела
окна веранды, что и коньки лесные
кормятся с нашего, можно сказать, стола,
не вылетая из сада.

В нашем казенном саду мало что для нас,
больше для птиц и белок – орех, рябина,
разве что яблоки да лучок «вырви глаз»,
впрочем, мы не в убытке.

Сливу мы тоже делим, но без обид,
как арендаторы временного жилища,
все мы тут временны, и у кого кредит
тверже, тот и хозяин.

Слава не слива, но плакаться не резон,
если мы сами удел свой бумажный пашем,
порасскажи муравью, что счастливей слон,
он не поверит.

Все-таки, худо-бедно, пока живем
не побираясь, и будущее не мстится
ни пузырьками сидра, ни пузырем
чистого самогона.

Нет у нас ни столового серебра,
ни фолиантов редких, но чем не роскошь
кодекс здоровья салернский читать с утра,
на ночь Апостол.

Нет серебра, но глина у нас поет:
дымковские свистульки свистят, и вторят
дудки из Городца – весь гончарный скот,
обжигом прокаленный.

Это с поры, когда покати шаром
в каждой торговой точке, а мы с кошелкой
по барахолкам рыщем — старье берем —
дуйте, ребята, звонче!

Красную осень ставит на всем печать,
и на крыло пернатый народ ложится
рейсом экономическим летовать
в теплые Палестины.

Перья почистить надо и нам чуток,
дверь укрепить и вставить вторые рамы,
сестрам-синицам сбить под окном чертог,
вместе и зазимуем.

Самое время бронхи свои продуть,
легкие продышать и прочистить горло
меликой и вокабулами — и в путь
мысленный за химерой.

Чаю заварим с мятой, накроем стол,
яблочный пай нарежем, тетрадь раскроем.
Может, хвала Алкею, и наш глагол
Небу угоден будет.

* * *

Вечный запах стираного белья,
это сохнет бедная плоть твоя,
пропитавшая потом уток с основой,
выжми эту жилу, конца ей нет,
разверни края и начни по новой.

Выжми эту жилу, проверь на свет,
где не бош, а босх развернул сюжет
и распял его на кривой веревке
для слепых, ковыряющих пальцем ноль,
как саму материю тратит моль
вроде звездной татуировки.

А кто видит мир без червивых дыр,
а пылающим куполом как потир,
световою сам становясь мембраной,
понимает, что я хочу сказать,
перематывая из холстинки прядь
золотую на безымянный…

Олег ЧУХОНЦЕВ. Goşgular